



Что читать. 2008.
Сентябрь/октябрь.
№ 1. С. 84–87

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

Мой Лермонтов

Из «Литературной коллекции»*

После разорения нашей семьи в революцию – в детстве у меня оказалось совсем мало своих книг. А читать – жадно хотелось. И то, что было у меня – я, ещё до школы, перечитывал и перечитывал по многу раз. Один был – том Гоголя, считался «полный», а не так, конечно. А вот, из близкой нам семьи, подарили мне огромный, тяжёлый вольфовский двухтомник Лермонтова, «Полное собрание», да переплетенный в одну книгу, чуть поменьше Евангелия...** (У той незабвенной семьи такой Лермонтов оказался в двух экземплярах, вот и достался мне. А Пушкин был у них один – и уж

нескоро, нескоро добрался я до Пушкина...) Ещё и драмы Шиллера были тоже, тяжёлый том, читал я и его, снова да снова. Потом притёк случайный полный Ибсен – и, по советской подписке, Джек Лондон. Вот в такой пёстрой компании я рос. А в 10 лет доверили мне сытинские, читать том за томом, «Войну и мир».

В моём крупном томе Лермонтова было много выразительных живописных картин, в целый большой лист, – они врезались в память на всю жизнь. Одни – на кавказские темы, с горцами и русскими военными, – а Кавказ я и без того ощущал как свой близкий, со-

седний с местами моего детства, да в редкие прозрачные утра мне даже доводилось, из южного Ставрополя, видеть весь величественный Хребет в его целостности и грозности. Не какие-то дальние страны из Фенимора Купера и Жюль Верна – а вот Он, великий сосед. «У Казбека с Шат-горою был великий спор», и поразительное Дарьяльское ущелье (на исходе юности досталось мне пройти и его). А с самим Лермонтовым завязалось и такое родство: что я родился совсем недалеко от места его дуэльной смерти – и умер-то он в пронзительные 27 лет, как и мой отец.

* «Литературную коллекцию» составляют четыре с лишним десятка очерков (сам автор называл их чаще «заметками»), из коих до сих пор опубликована лишь половина. В середине 1980-х годов, перечитывая отдельные произведения русской литературы XIX и XX веков, А.И. Солженицын стал записывать свои обновившиеся впечатления и сохранил этот обычай до середины 2000-х. Он подчёркивал, что эти заметки – не критические статьи, они не претендуют ни на полноту охвата, ни на взвешенную объективность, это просто – взгляд читателя. Для нас же особая ценность именно в том, что это взгляд – читающего писателя. – Примеч. публикатора.

** М.Ю. Лермонтов. Полное собрание сочинений: В 2 т./Под ред. В.В. Чуйко. С портретом Лермонтова, его биографией и 41 отдельными картинами художника В.А. Полякова. 2-е изд. СПб.-М.: Т-во М.О. Вольф, [б/г]. [Т. 1 – 309 с.; Т. 2 – 376 с.]. – На первом авантителе карандашная надпись рукой А.И. Солженицына: «Любимая книга моего детства. 1925—1929 годы». На втором авантителе – рукописный экс-либрис: «Федоровский». (Владимир Иванович Федоровский – инженер-теплотехник, глава «близкой семьи», подаривший книгу 7-летнему Сане Солженицыну.) – Все цитаты в этом очерке приведены автором по данному изданию. – Примеч. публикатора.

Но ещё больше кавказских сцен захватывали меня – такие же поражающие, в лист, картины с ангелами – вот уносящим в небо душу умершей – «Он душу младую в объятиях нёс» – или противостояние его с Демоном в борьбе за страждущую душу Тамары. А в перелист картин – «И звуков небес заменить не могли / Ей скучные песни земли» – и прямые молитвы: «...Тёплой заступнице мира холодного» – и: «В минуту жизни трудную, / Теснится ль в сердце грусть: / Одну молитву чудную / Твержу я наизусть». В годы гонения на иконы, лампы и само Божье слово – эти лермонтовские строки звучали куда захватнее, уносливей, чем у самого автора сотню лет назад. Стихи его наслаивались в утверждение и моей души. Умиряли «Тучки небесные, вечные странники».

А вот мятежные частые порывы поэта – вообще к в о л е, вообще к освобождению от плена, рабства, стеснений (как во «Мцыри», в «Узнике», да уже и в «Боярине Орше», да во многих стихах), – эти порывы к мятежу не вырывали меня из моего скромного, тихого ровного существования. (Только «На смерть Пушкина» я разделил со страстью и дрожью – вот уж «Из пламя и света / Рождённое слово!» – потом не раз читал его с подмости на школьных вечерах.) И нависающие наговоры, монологи Демона, это двоение мысли и веры, пульс едкого сомнения – тоже не затрагивали, не колебнули меня.

Тем меньше мог я усвоить из желчных суждений Печорина. «Героя нашего времени» я, как и всё моё остальное, прочёл несколько раз – но усвоил только мелькание родных мест, Кисловодска с Нарзанной галереей, – да эффектную сцену дуэли, конечно, – хотя не принимал, зачем она вся затеялась, из-за какого-то пустяка. А через «Бородино» – шагнул я в Отечественную войну, вскоре развёрнутую мне тётей в огромном альбоме «1812 год», и уже в первые годы советской школы – не увлечённый ею, скорее отторженный – я читал «Войну и мир» (меньше всего замечая романную сторону, но поражённый исторической), – и так расстались мы с Лермонтовым – до моего почтительного,

в 17 лет, прихода на место его дуэли, а затем – и в отдающую прорву десятилетий. Нет, ещё приходил же я и в пятигорский музей его, под мои 40, уже воротясь из ссылки, и после ракового корпуса, с новыми мерками жизни и смерти.

Нет, ещё! Уже за мои 75, после изгнания, – добрался я и до заветных пензенских лермонтовских Тархан, до могилы его, запомненной из старинного тома. (Гроб его, дубовый в свинцовом, везли на лошадях из Пятигорска, стена склепа перед могилой, оказывается, была в лихую пору замурована защитно – и так пережила революцию, раскрыли в 1939.) А с 1992 возобновилась служба в храме Михаила Архангела, освящённом ещё в 1842, по смерти поэта, – и вот перестоял! (С балкона имения – храм виден на горе.) Водила меня Тамара Михайловна Мельникова, директор заповедника, гибнущего от нищеты «перестроечных» лет, водила на могилу и по всем комнатам дома бабушки Арсеньевой, дома лермонтовского отрочества, горячо взволнованная, всё рассказывала, – и особенно врезался мне прежде прогляженный лермонтовский стих «Эпитафия» – как он в 16 лет стоял на панихиде по отцу (отторженному властной бабкой), но слёзы у него не проступили...

...А вот прошло 70 лет и с тех пор, как последний раз перечитывал же я и печоринскую сплотку рассказов – уже в ходе школьного учения. Да таков был социально-социалистический жаргон литературной программы тех лет, что не упомяну, прибавилось ли мне что к детскому. Так, по инерции, и осталось от детства на пьедестале: что **«Герой нашего времени»** – это высокая, классическая русская проза. А потом – динамичная моя жизнь уже не оставляла передыха на перечёт. Да и любимый детский том Лермонтова при высылке моей из СССР остался тут... – и только теперь, через 30 лет, вернулся ко мне. И – я не ставил такой задачи – таинственный, старинный вид его, на пожелтевших листах и с милой старой орфографией, со столькими памятно-

ми с детства картинками, потянул меня полистать, полистать – да отчего бы и не перечесть совсем забытого «Героя»?

И – ошеломился я, как чему-то совсем новому. И потянулась рука – записать одно, другое, третье впечатление... А тогда – по привычке: да не включить ли и уголок Лермонтова в мою позднюю «Литературную коллекцию»?

Но тут узнаю случайно, что у покойного академика В.В. Виноградова была работа: «Стиль прозы Лермонтова». Так надо ж посмотреть её! Достал.*

Читаю. Всё очень солидно. Поток рассмотрения плавно течёт сквозь русскую литературную среду 20–30-х годов XIX века. И все романтики, подобные Марлинскому, уже провихрились через русские умы, а Байрон – и через все европейские. И прошагал Пушкин – с «Онегиным» и со своей, по видимости, беззатейной прозой. И что же? Да: «романтизм изживается у Лермонтова психологическим реализмом» – «аналитические самонаблюдения!» «открытие глубин души!» «разъедающий самоанализ!» «нагота признаний Печорина!» «бесстрастный анализ переживаний!» «Тут Лермонтов подготавливает путь Достоевскому!» И в подтверждение – да, плавно текут примеры, довольно обильные цитаты, – да вот только что мною это всё и прочтено, но всё ли сходится? Формально сходится, – а в полноту чувства: как будто мы с Виноградовым читали совсем разные книги. Нет! На атмосферу той литературной эпохи я же не простягаю претензий, и даже готов уступить Виноградову, что Лермонтов, оказывается, спорит с пушкинской прозой, и даже с «Онегиным» (якобы *вывернутым* в «Княжне Мери»). Не-е-ет! Ещё раз (уже не первый) вижу, что мне, просто писателю (пишу, как вижу, и читаю, как вижу), – с нынешним научным литературоведением – нет, не сговориться... Слишком мудрёно повадились они истолковывать писательский труд.

Мне вот, прожившему жестокий XX век, и в простоте повидавшему жизнь в неизысканных обликах и в довольно разных её явлениях, – мне слишком многое видится иначе. И, увы, в «Герое нашего времени» – тоже.

* В.В. Виноградов. *Язык и стиль русских писателей от Карамзина до Гоголя. Избранные труды.* М.: Наука, 1990.

Что оно вообще такое? Какая-то странная сплотка из совершенно разнородных и разнородно написанных кусков, в обрамление довольно обширной и довольно скучноватой «Княжны Мери». Композиционной целостности – и не спрашивай. Рядом – Кавказский хребет, и линия фронта совсем не лёгкой кавказской войны. Главный персонаж – как будто боевой офицер, но почти до последней страницы (уже в «Фаталисте») мы не только не видим его в подобной роли, – а и ни в чём, нигде не отягчает его ни служебное сознание, долг, ни ощущение боевого товарищества, он проходит перед нами какой-то независимой тенью, в презрении ко всем окружающим и лишь в забаве экспериментов над ними. Да сперва («Бэла») его самого и нет – какой-то ещё более неизвестный нам повествователь, ничем особо не проявленный, как будто не просто же путешественник по Кавказу, но кто? – от случайного попутчика, бывалого штабс-капитана, записывает в свои путевые заметки и пересказывает нам в несколько отрывков рассказанную историю похищения (в подробностях нечёткую) молодой черкешенки вот этим самым загадочным Печориным. Но даже через добродушного штабс-капитана (и единственного в живой плоти изо всего, всего цикла) не доносится до нас горя и боли ни от плена печальной девушки, ни от гибели её. Рассказ вялый, да с натяжками в сюжетных поворотах (да весь – выдуманный), а «черкесы» неразличимо перепутаны с «чеченцами» – так кто же они?

Следующий, «Максим Максимыч», – даже не отдельный рассказ, а добавочный эпизод к «Бэле» – вот об этом трогательном штабс-капитане и презрительной небрежности к нему Печорина. Наш повествователь, подробно описав нам портрет Печорина (ни к чему не приложенный, так, на будущий воспомин – и подробности одежды, и какова фигура, походка, жесты, и догадки о его «нервической слабости», «душевном беспокойстве» и ещё другие, и подробности лица, а «в улыбке что-то детское»), ещё снабжает нас размышлением, что «коварная нескромность истинного друга понятна каждому», что его «неизъяснимая ненависть, таясь под личиною дружбы,

ожидает только смерти или несчастья любимого предмета», – на том уступает место дальше «журналу» (дневнику) самого Печорина.

Сразу вслед – и без какой-либо связи – приключенческая новелла «Тамань» – как Печорин случайно попадает к ночи в контрабандитскую укрывку на берегу моря. Проверяет свои подозрения то при недолгом свете спички, то уже при свечке, то при луне. На утро появляется, разумеется очаровательная, «русалка-ундина», – то поёт песенку, то бойко-складно отвечает, первая целует героя («влажный огненный поцелуй прозвучал на губах моих»), завлекает гостя в лодку, с лодки пытается его утопить, при этом Печорин роняет в воду пистолет (но – боевой офицер? не испытывает по нему боевой заботы), однако спасает жизнь, а русалку – в воду.

Наконец – большой, центральный рассказ, даже повесть – «Княжна Мери». Тут-то, с полным хладнокровием, и изложен сюжет о Печорине, через его дневник. Таким-то простейшим приёмом – не освещиванием со стороны, не читательским поиском и догадкой по примеченным чертам, по недосказанным фразам, по необъяснённым поступкам, как это бывает в жизни, нет, – той самой откровенной «наготой признаний», «открытием глубин души», тем «разъедающим самоанализом», презрительным превосходством над окружающими и – язвительно обдуманная опыты над ними. – «Мне хотелось его побесить», «мои насмешки были злы до неистовства», «неизъяснимое бешенство», «моё единственное назначение на земле – разрушать чужие надежды», «судьба заботится о том, чтобы мне не было скучно». Будто свойственны ему «необыкновенные импровизации в разговорах»? Но ни одна такая не явлена нам, а размышления его не поражают высотой: «Печальное нам смешно, смешное грустно, а мы ко всему равнодушны». Более всего он экспериментирует над примитивными, предсказуемыми импульсами княжны Мери, все его выходки служат заблуживанию её и издёргу. Затем объявляет ей: «я над вами смеялся» (но тут же, в дневник, притворяясь ли перед самим собой: «ещё минута – и я бы упал к ногам её»). Правда: и сочинить такой последовательно циничный, едкий и бессердечный характер –

тоже нелегко. – Устойчивая будто бы любовь Печорина к Вере? – несколько не ощущается, тоже игра из необязательных, хотя в финале автор пытается (с запозданием) уверить нас в обратном – слишком картинным падением загнанного в скачке коня. Впрочем, мало явлена и любовь к нему Веры, весь стаж её и вся предыстория – вне нашего зрения. Разве что в заключительной записке.

Не сказать, чтоб яркие и остальные персонажи (хотя наружность каждого из них даётся, по старой литературной манере, заединожды, но полным перечнем черт). Грушницкий обрисован предвзято и неприязненно, составлен из длительных, разоблачительных объяснений его «всего». Доктор Вернер – отчётливый, да оттого, что он партнёр Печорину по психологическим разборам и ходам. Почти все остальные эпизодичны. – В ходе действия очень частые приёмы «случайных» подслушиваний и подглядываний, – в достаточно обширном объёме повести это становится уже и однообразно. (Тем более, что и в предыдущих рассказах – те же приёмы.) – И всё то же амплуа Печорина: как будто офицер воюющей где-то тут армии – а ни тени служебных ощущений (впрочем, и весь Кавказ, и кавказская война – скорей для экзотики). Просто бездельный, самовластный барин, живёт на всём готовом (денщик, слуги – подразумеваются, но даже не мелькают) и ставит психологические опыты. И дуэль-то – в этом ряду.

Наиболее характерен – язык повести (и он же – в авторском вступлении к «Журналу Печорина»), это литературно-французская отточенность, фехтующий стиль, острота диалогов, меткость и даже афористичность беглых замечаний, хлётко-точные фразы (особенно у Печорина). (А – вне традиции русской прозы.)

Однако прочёл я теперь – и удивляюсь: нам, после российского XIX века, весь сюжет кажется таким легковесным, надуманным.

В завершение цикла – ещё рассказ «Фаталист». На этот раз Печорин – в офицерской компании и ближе к боевой линии, в казачьей станице. Вроде близ войны – а на задворках. Показано занятие их – всего лишь карточная игра, затем, от скуки, – спор о пред-

начертанности людских судеб. Тому следует проверка его на неудавшемся самоубийстве и внезапная шашка от пьяного казака, исправляющего ту проверку. И тут Печорин, опять же для эксперимента, совершает боевое действие (но несколько странное: головой вперёд через окно – а стекло? не сказано – швыряет себя на пол избы, рядом с казаком, и мешает ему применить шашку). Эпизод смягчён в конце милой усмешкой над тем же Максимом Максимычем.

Впрочем, недоумение моё только и возникло от этого цикла.

Основной поток лучших лермонтовских стихов (да целое море их, щедр он был на их сложенье) – как залёг в моё сердце когда-то – так и навсегда. Сильно бы обеднела русская поэзия без них. – При взглядах на безоблачное небо – нередко звучит в его строках «ангелов полёт».

Несколько «кавказских поэм»? Да ведь писанные ещё юношей, по воображению (в свой роковой Пятигорск Лермонтов попал ещё больным ребёнком, на лечение водами), ещё без своего кавказского военного опыта, где потом уже и вложенного. Пресловутый своим названием «Кавказский пленник» – и стих ещё юный, и сюжет сентиментально-примитивен, не разработан. Но отметим: уважительно видит поэт горских противников – их смелость, их военную «ловкость», находчивость. («Черкесы» на Тереке? – видать, чечены, да уж такая была терминология тех лет.) – И аукнулись они нам к концу XX века...

Как будто рядом с кавказскими поэмами, и опять Он – «Седой, незыблемый Кавказ», – а – совсем на особом месте высится «Мцыри». Тот же дух неукротимой горской свободы, та же слитность с природой, и с барсом, в лютом поединке с ним, и со змеей, жёлтой спиной похожей на клинок с золотой росписью, и с зеленоглазой рыбкой, зовущей улечься в холод вольной струи, сколько искреннего, изродного чувства, но и кипящего авторского воображения, – и какой уверенный, стройный, сильный стих, ка-

кой напор исповедного непрерываемого монолога – шедевр! Поэт – избывает речью, самослагаемой в ритм и рифмы, как рвётся горный поток. И сами собой отливаются фразы, входящие потом в приговорки: «Я знал одной лишь думы власть / Одну – но пламенную страсть» – «Узнать, для воли иль тюрьмы / На этот свет родимся мы». – «Я б вырвал слабый мой язык». – «Что за нужда? Ты жил, старик!» – «И смутно понял я тогда, / Что мне на родину следа / Не положить уж никогда»...

«Песня о купце Калашникове» – великолепна! Какое проникновение в русский народный былинный стих, во всю обрядность его! Сверкает. Вот где потеря для нас: что не окунулся Лермонтов в русскую старину – многим бы нас обогатил.

Как некстати в «Боярина Оршу» вклеены эпитафии из Байрона – а век-то Иоанна Грозного да литовских войн. – А уже тут – страстный тот мятеж, с сотрясением святынь, между Небом и Адом: «ты в рай, я в ад, но путь один». – Кто резче Лермонтова сотряс русскую литературу порывом к мятежу, к столкновению святого и демоновского? Не случайно именно он оставил нам тот провидческий стих («Предсказание», 1830): – «тот год / <...> Когда с царей корона упадёт».

Это столкновение святости и зла, молитвы и соблазна – отчётливее всего, конечно же, разработано в «Демоне» – центральной поэме, которую Лермонтов писал почти всю сознательную жизнь (1829—1840) с 15 лет. (И сколько за эти годы испробованных и отброшенных вариантов!* И сколько же строк и фраз выстраданной поэмы всочились в русскую речь.) И как аналитично расщеплён Демон! Если у Гёте Мефистофель – цельный монолит из Зла, непреклонно распорядительного ума, без трещинки сомнения, – то лермонтовский Демон терзается воспоминаниями о прошлом: тех «лучших дней

воспоминанья / <...> Тех дней, когда он не был злым, / Когда глядел на славу Бога, / Не отвращаясь от Него»... «Тех дней, когда в жилище света / Блестал он, чистый херувим». – Тоска – но и обречённая же отверженность. «Забывать? – забвенья не дал Бог, / Да он [Демон] и не взял бы забвенья».

И вот «Я тот, чей взор надежду губит, / Едва надежда расцветёт, / Я тот, кого никто не любит, / И всё живущее клянёт». И вот: «Мир для меня стал глух и нем». «В груди изгнанника бесплодной...» – «Один, как прежде, во вселенной / Без упования и любви». – «Он сеял зло без наслажденья / <...> И зло наскучило ему». – «Моих непризнанных мучений...», «Что груди гибнущих людей / Не веселят его очей...» И Демон «Роняет, посреди мученья, / Свинцовы слёзы иногда». – И – и – уже в наговорах соблазненной Тамаре: «Хочу я с небом помириться, / Хочу любить, хочу молиться, / Хочу я веровать добру»...

Какая отчаянно смелая, пронзительная мысль поэта – всем сердцем пережившего, прозревшего, вообразившего эти мечтания? И даже, в погоне за Тамарой, укрывшейся в монастырь: «И долго, долго он не смел / Святыню мирного приюта / Нарушить...» – И даже, кажется, уже и веря сам: «Меня добру и небесам / Ты возратить могла бы словом...»

И как же жгучи страданья Тамары под наговорами Демона: «Страсть безотчётная, как тенью, / Жизнь осенила перед ней», «...увы, я не могу / Молиться; гибельной отравой / Мой ум слабеющий объят». Как изнывательны её колебания между чарами греха и уцепкой за чистоту. Тут сверкает дерзкая попытка поэта: смешать расслабляющую силу искушения – но и, обратно же, противостоящую возможность любви в одоление Зла. – И – падшую душу умершей Тамары – ангел несёт к Богу.

Какая сильная поэма, глубокая мыслью и прозрением. И – как вписана вся в вечный пейзаж Кавказа – «под строго зрящим Небом» – «У врат Кавказа на часах / Сторожевые великаны».

2004

Публикация Н.Д. Солженицыной

* Следующие далее цитаты приводятся автором как из окончательного текста поэмы, так и из черновых редакций. В цитируемом издании они опубликованы под заголовком «Первоначальные очерки "Демона"» (Т. 1, с. 248-262). – Примеч. публикатора.